

Николай Михайлович Карамзин

Моя исповедь



Николай Михайлович Карамзин

Моя исповедь

«...Я намерен говорить о себе: вздумал и пишу – свою исповедь, не думая, приятна ли будет она для читателей. Нынешний век можно назвать веком *откровенности* в физическом и нравственном смысле: взгляните на милых наших красавиц!.. некогда люди прятались в темных домах и под щитом высоких заборов. Теперь везде светлые дома и большие окна на улицу: просим смотреть! Мы хотим жить, действовать и мыслить в прозрачном стекле...»

**Николай Михайлович
Карамзин**

Моя исповедь

Письмо к издателю журнала

Признаюсь вам, государь мой, что я не читаю вашего журнала, а желаю, чтобы вы поместили в нем мое письмо. Для чего? Сам не знаю. Более сорока лет живу на свете и никогда еще не давал себе отчета ни в желани-ях, ни в делах своих. Великое слово «так» было всегда моим девизом.

Я намерен говорить о себе: вздумал и пишу – свою исповедь, не думая, приятна ли будет она для читателей. Нынешний век можно назвать веком *откровенности* в физическом и нравственном смысле: взгляните на милых наших красавиц!.. Некогда люди прятались в темных домах и под щитом высоких заборов. Теперь везде светлые дома и большие окна на улицу: просим смотреть! Мы хотим жить, действовать и мыслить в прозрачном стекле. Ныне люди путешествуют не для того, чтобы узнать и верно описать другие земли, но чтобы иметь случай поговорить о себе; ныне всякий сочинитель романа спешит как можно скорее сообщить свой образ мыслей о важных и неважных предметах. Сверх того, сколько выходит книг под титулом: «Мои опыты», «Тайный журнал моего сердца»! Что

за перо, то и за искреннее признание. Как скоро нет в человеке старомодного варварского стыда, то всего легче быть автором исповеди. Тут не надобно ломать головы; надобно только вспомнить проказы свои, и книга готова.

Однако ж не думайте, чтобы я хотел оправдываться примерами; нет, такая мысль оскорбительна для моего самолюбия. Следую только собственному движению и замечаю мимоходом, что оно некоторым образом согласно с общим; но сохрани меня бог казаться рабским подражателем! Для того, в противность всем исповедникам, наперед сказываю, что признания мои не имеют никакой нравственной цели. Пишу – так! Еще и другим отличусь от моих собратий – авторов, а именно краткою. Они умеют расплодить самое ничто; я самые важные случаи жизни своей опишу на листочке.

Начну уверением, что натура произвела меня совершенно особенным человеком и что судьба все случаи жизни моей запечатлела какою-то отменною печатью. Например, я родился сыном богатого, знатного господи-

на – и вырос шалуном! Делал всякие проказы – и не был сечен! Выучился по-французски – и не знал народного языка своего! Играл десяти лет на театре – и в пятнадцать лет не имел идеи о должностях человека и гражданина.

На шестнадцатом году дали мне изрядный чин и отправили меня в чужие край, не сказав для чего. Правда, что со мною поехал гофмейстер, женевец (прошу заметить, а не француз, потому что в это время французские гувернеры в знатных домах наших выходили уже из моды), которому даны были все нужные наставления. Господин Мендель знал, к чему по большей части готовится знатный молодой человек, а всего более знал свои выгоды – и поступал со мною вследствие своего благоразумного плана. Надобно отдать ему справедливость: он любил искренность и немедленно со мною объяснился. «Любезный граф! – сказал мне гофмейстер. – Природа и судьба уговорились сделать тебя образцом любезности и счастья; ты прекрасен, умен, богат и знатен; довольно для блестящей роли в свете! Все прочее не стоит труда. Мы едем в

Лейпцигский университет; родители твои, следуя обыкновению, желают, чтобы ты украсил разум свой знаниями, и поручили тебя моему смотрению; будь спокоен! Я родился в республике и ненавижу тиранство! Надеюсь только, что моя снисходительность заслужит со временем твою признательность». Я обнял его и обещал ему такую пенсию, какая не всегда дается и министру за долголетнюю службу.

Приехав в Лейпциг, мы спешили познакомиться со всеми славными профессорами – и нимфами. Гофмейстер мой имел великое уважение к первым и маленькую слабость к последним. Я взял его себе за образец – и мы одним давали обеды, другим – ужины. Часы лекций казались мне минутою, оттого что я любил дремать под кафедрою докторов, и не мог их наслушаться, оттого что никогда не слушал. Между тем господин Мендель всякую неделю уведомлял моих родителей о великих успехах дражайшего сына их и целые страницы наполнял именами наук, которым меня учили.

Наконец, прожив три года в Лейпциге, мы

отправились путешествовать, наняв секретаря для описания любопытных предметов, ибо господин Мендель был ленив. Родители мои из каждого города получали от нас толстые пакеты, не могли нарадоваться умными замечаниями своего сына и с гордостью читали их нашим родственникам. Я не виноват был ни в одной строке, уполномочив секретаря своего философствовать вместо меня (к счастью, рука его совершенно на мою походила), но к некоторым его описаниям прибавлял от себя выразительные карикатуры – произведение единственного таланта, данного мне натурою!

Однако ж я наделал много шума в своем путешествии – тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом, а всего более тем, что, с добрыми католиками целуя туфель папы, укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы. Эта шутка не прошла мне даром, и я высидел несколько дней в крепости св. Ангела.^{1} Обыкновенная же забава моя дорогою была – стрелять бу-

мажными шариками из духового пистолета в спину постиллионам!

В Париже я вошел в связь со многими из славных ветреников и нашел способ удивить их как смелою своею философиею, так и всеми тонкостями языка повес, всеми его техническими выражениями, заимствованными мною по большей части от господина Менделя, который служил некогда домашним секретарем герцога Ришельё. Будучи введен в некоторые хорошие дома, я имел случай узнать и славнейших французских остроумцев; слышал однажды чтение Лагарповой «Мелании», хвалил без памяти талант автора и после сведал, что он в письме своем к одному знатному человеку в П* (без сомнения, из благодарности) описывал меня редким молодым человеком, рожденным для чести и славы отечества. Я имел счастье быть представлен герцогу Орлеанскому, ужинать с его избранными друзьями и разделять забавы их, достойные кисти нового Петрония.

Надобно было видеть Англию; подобно Альцибиаду, я стал другим человеком в другой земле и пил так усердно с британцами,

что через месяц слег в постелю. Пользуясь временем моего выздоровления, я сделал карикатуры на всю королевскую фамилию – и лондонские журналы говорили об них с великою похвалою.

Возвращение сил моих было горестно для господина Менделя: мне вздумалось столкнуть его с лестницы за то, что ему вздумалось приласкаться к моей Дженни. Нежная англичанка упала в обморок, между тем как мой гофмейстер считал головою ступени. Однако ж уверяю читателя, что сердце мое совсем неспособно к ревности: это минутное движение было, конечно, следствием моей болезни. Господин Мендель расстался со мною. Мы оба уведомили моих родителей о нашем разрыве; он называл меня шалуном, а я описывал его недостойным имени гофмейстера. И то и другое могло быть справедливо, но матушка одному мне поверила, а батюшка согласился с нею.

Наконец я возвратился в отечество, где лавры и мирты ожидали меня. В голове моей не было никакой ясной идеи, а в сердце – никакого сильного чувства, кроме скуки. Весь

свет казался мне беспорядочною игрою китайских теней, все правила – уздою слабых умов, все должности – несносным принуждением. Ласки родителей не сделали в холодной душе моей никакого впечатления; но, зная выгоды человека, образованного в чужих землях, я спешил поразить умы соотечественников разными странностями и с удовольствием видел себя истинным законодателем столицы. Мореплаватель во время бури не смотрит с таким вниманием на магнитную стрелку, с каким молодые люди на меня смотрели, чтобы во всем соображаться со мною. Я везде, как в зеркале, видел себя с ног до головы: все мои движения были срисованы и повторены с величайшею верностию. Это забавляло меня до крайности. Но главным моим предметом были женщины, которых лестное внимание открывало мне обширное поле деятельности. Здесь не могу удержаться от некоторых философических рассуждений. Влюбленность – извините новое слово: оно выражает вещь – влюбленность, говорю, есть самое благодетельное изобретение для света, который без нее похо-

дил бы на монастырь Латрапский.{2} Но с нею молодые люди наипрекраснейшим образом занимают пустоту жизни. Открывая глаза, знаешь, о чем думать; являясь в обществах, знаешь, кого искать глазами; все имеет цель свою. Правда, что мужья иногда досаждают; что жены иногда дурачатся от ревности; но *мы* заняты, – а это главное! С одной стороны, искусство нравиться, с другой – искусство притворяться и самого себя обманывать не дают засыпать сердцу. Часто выходит беспорядок в семействах, но он имеет свою приятность. Сцены обморока, отчаяния для знатоков живописны. *Sauve qui peut*[1], всякий о себе думай – и довольно!

Будучи модным прелестником, я имел счастье поссорить многих коротких приятельниц между собою и развести не одну жену с мужем. Всякая соблазнительная история более и более прославляла меня. О характере моем говорили ужасы: это самое возбуждало любопытство, которое действует весьма живо и сильно в женском сердце. Система моя в любви была самая надежная; я тиранил женщин то холодностию, то ревностию; являлся

не прежде десяти часов вечера на *любовное дежурство*, садился на оттомане, зевал,пил гофмановы капли или начинал хвалить другую женщину; тайная досада, упреки, слезы веселили меня недель шесть, иногда гораздо долее; наконец следовал разрыв связи – и новый миртовый венок падал мне на голову. Справедливость требует от меня признания, что не все красавицы были моими Дидонами; {3} нет, одна из них, вышедши из терпения, осмелилась указать мне двери. Я был в отчаянии – и на другой день представил ее в живой карикатуре: заставил всех смеяться и сам утешился.

Вдруг пришло мне на мысль жениться, не столько в угождение матери (отца моего уже не было на свете), сколько для того, чтобы завести у себя в доме благородный спектакль, который мог служить для меня приятным рассеянием среди трудных обязанностей модного человека. Я выбрал прекрасную небогатую девушку (хорошо воспитанную в одном знатном доме), надеясь, что она из благодарности оставит меня в покое, и в сих мыслях обещался на другой день ужинать, по обык-

новению, с глазу на глаз с резвою Алиною, которая тогда занимала меня своею любезностию. Вышло напротив. Эмилия из благодарности считала за долг быть нежною, страстною женою, а нежность и страсть всегда ревнивы. Философия моя заставляла ее плакать, рваться: я вооружился терпением, смотрел, слушал равнодушно; играл ее шалью – и зевал, воображая, что бури непродолжительны, особливо женские. В самом деле, Эмилия мало-помалу приходила в рассудок, утихала и становилась гораздо милее; томные взоры ее развеселялись, и легкие упреки произносились уже вполголоса, даже с улыбкою. Наконец я совершенно уверился в исправлении жены моей, видя вокруг ее толпу искателей. Дом наш сделался оттого гораздо приятнее: Эмилия перестала грубить молодым женщинам и всячески старалась заслужить имя любезной хозяйки. Мы набрали к себе в дом итальянских кастратов, играли оперы, комедии, давали маленькие балы, большие ужины, – подписывали счета, но никогда не считали, – занимали деньги и никогда не имели их, – одним словом, жили прекрасно!

Одна мать моя, у которой от старости испортился нрав, была недовольна и часто упрекала меня ветреною безрассудностию; говорила, что мы разоряемся; говорила даже, что Эмилия дурно ведет себя! Но я – зевал и, как должно хорошему сыну, советовал ей беречь свое здоровье, то есть не сердиться. Она не хотела послушаться, и прежде времени отправилась на тот свет. Бедная! Мы пожалели об ней – тем искреннее, что ее смерть на несколько месяцев расстроила наши спектакли.

Скоро в хозяйстве нашем открылись маленькие неприятности: иногда накануне большого ужина дворецкий сказывал мне, что у него нет ни рубля на расход и что он нигде не мог занять денег. В таком случае я обыкновенно выгонял его из комнаты – и ужин бывал прекрасный. Являлись добрые люди с товарами: одни продавали мне на вексель, другие в ту же минуту покупали у меня на чистые деньги, и дело было с концом. Но время от времени встречалось более трудностей, и часто за вексель в тысячу рублей давали мне только дюжин шесть помады! Уведом-

ляю читателя, что искусные люди, которых профаны называют ростовщиками, знают наизусть все нужды и все коммерческие способы богатых мотов; взяв карандаш в руку, они в минуту исчисляють, во сколько лет, месяцев, дней и часов такой-то останется без души христианской; по сему верному расчету служат ближнему деятельно, усердно и редко обманываются. Наши отечественные лихоимцы прежде всех других оставляют человека на славном и широком пути разорения, подобно меланхолическим докторам, которые слишком рано осуждают больных на смерть; они отдают его на руки иностранным ростовщикам: немцы уступают место французам, французы – италиянцам, италиянцы – грекам; в эту последнюю эпоху рубль мота ходит уже в копейке. Я спокойно прошел сквозь всю жидовскую фалангу и стоял уже на последней ступени. Имение мое записывали, продавали с публичного торгу, но я все еще не унывал и в самый тот день, как меня выгнали из дому, думал играть главную роль в комедии «Беспечного». Жестокые заимодавцы не хотели видеть спектакля – и мне надлежало искать

убежища в доме одного моего родственника.

Если читатель удивится, что семь или восемь тысяч душ моих так скоро исчезли с дымом, то он, без сомнения, не знает умножительной силы долгов, считаемых не должником, а займодавцами; вексели, как полипы, чудесным образом плодятся, если завеса беспечности скрывает следствия от глаз рассудка. К тому же всякий почтенный мот находит верных сотрудников в своих управителях и дворецких, которые всячески облегчают бремя господского имения, приметив, что оно угнетает господина. — Я назвал мота почтенным и спешу оправдаться. Он есть благодетель отечества и народа, разделяя с обществом свое богатство. Собиратель подобен жадной реке, которая течет в прямой линии, глотает ручейки и потоки, влажит только берега свои и сушит окрестности, но расточителя можно сравнить с рекою щедрою, которая делится на тысячу рукавов, сообщает влагу свою великому пространству и, мало-помалу исчезая, делается жертвою благотворительности.

Кому угодно, тот может вообразить меня

спокойно и даже гордо идущего по улице; два человека несли за мною две корзины, наполненные любовными женскими письмами: единственное сокровище, которое заимодавцы позволили мне вынести из дому! Родственник принял меня холодно и с упреком. Эмилия приехала к нему вслед за мною и, забыв, что мы вместе проживали имение, осыпала меня жестокими укоризнами, объявила торжественно, что союз наш разрывается, села в карету и скрылась. Я летел к женщине, которая за день перед тем уверяла меня в любви своей, – меня не приняли, летел ко многочисленным друзьям моим – одних не было дома, другие вздумали читать мне наизусть книжные наставления, как должно быть умеренным и благоразумным в жизни! Им надлежало бы говорить о том, когда я угощал их. – В прибавок во всему меня выгнали из службы, как распутного человека.

Такие случаи и неприятности могли бы огорчить другого, но я родился философом – сносил все равнодушно и твердил любимое слово свое: «Китайские тени! Китайские тени!» Всего хуже было то, что заимодавцы,

недовольные остатками моего имения, грозились посадить меня в тюрьму. Признаюсь, что мысль о темной конурке пугала и самую мою философию.

Месяца через два приехал ко мне один богатый князь с требованием, чтобы я подписал некоторую бумагу, и с обещанием удовлетворить моих кредиторов; то есть мне надлежало взвести на себя небылицу, которая давала Эмилии право избрать другого мужа. Я сперва захохотал, а после задумался, воображая, с одной стороны, ужасы темницы, а с другой – злые насмешки людей. Между тем князь говорил о своей благодарности, признался, что он намерен жениться на Эмилии, желая спасти ее от бедствий нищеты, предлагал мне свою дружбу, уверял, что дом его будет моим домом, даже звал меня жить к себе. Тут счастливая мысль пришла мне в голову: я подписал бумагу.

Эмилия красноречивым письмом изъявила мне свою признательность (она вышла за князя, который немедленно выкупил мои вексели) и в заключение говорила: «Мы не умели быть счастливыми супругами: будем

по крайней мере нежными друзьями! Муж мой клянется любить вас как брата». — Я спешил уверить ее в своей чувствительности — и с того времени поселился у князя, обедал, ужинал с Эмилией, казался томным, печальным и, оставаясь наедине с нею, говорил со слезами о прежней своей безрассудности, о моем сердечном раскаянии, о потерянном навеки счастье, то есть имени супруга любезнейшей женщины в свете. Сперва она шутила, но мало-помалу начала слушать меня с важным видом и задумываться. Надобно знать, что князь был человек пожилой и весьма неприятный наружностию. Часто глаза ее тихонько сравнивали нас и с выражением горести потуплялись в землю. Эмилия некогда любила меня; перестав быть ее мужем, я казался ей тем любезнее. Боясь света, который громко осуждал ее второе замужство, она вела уединенную жизнь; уединение же, как известно, питает страсти. Женщина, самая романическая, в некоторых обстоятельствах может прельститься богатством, но богатство теряет для нее всю свою цену при первом движении сердца. Не хочу томить читателя

долгим приуготовлением. *План мой* счастливо исполнился. Мы изъяснились. Эмилия отдалась мне со всеми знаками живейшей страсти, а я через минуту едва мог удержаться от смеха, воображая странность победы своей и новость такой связи. – Старый муж отметил новому, но мне еще не довольно было восторгов Эмилии, тайных свиданий, нежных писем: я хотел громкой славы! Я предложил своей жене-любовнице уйти со мною. Она испугалась – описывала наше положение самым счастливым (ибо князь стыдился ревновать ко мне) – предвидела ужас света, если мы отважимся на такой неслыханный пример разврата, – и заклинала меня со слезами сожалеться над ее судьбою. Но женщина, которая преступила уже многие (по словам моралистов) должности, не может ни в чем отвечать за себя. Я хотел непременно, требовал, грозил (помнится) застрелить себя – и через несколько дней мы очутились на Мо-ской дороге.

Торжество мое было совершенно; я живо представлял себе изумление бедного князя и всех честных людей; сравнивал себя с романтическими ловеласами и ставил их под нога-

ми своими: они увозили любовниц, а я увез бывшую жену мою от второго мужа! Эмилия грустила, но утешилась мыслью, что она следует движению непобедимого чувства и что любовь ее ко мне есть героическая, – утешение, к которому обыкновенно прибегают женщины в заблуждениях страсти или воображения!

В М-е знатные мои родственники не хотели пустить меня в дом, а набожные тетки и бабушки, встречаясь со мною на улице, крестились от ужаса. Зато некоторые молодые люди удивлялись смелости моего дела и признавали меня своим героем. Я покоился на лаврах, не боясь никаких следствий: ибо добрый князь, заключив горечь в сердце, не жаловался никому и говорил своим знакомым, что он сам отправил жену в М-у для экономии. Эмилия продала свои бриллианты, и мы жили недурно; но она жаловалась иногда на мое равнодушие и, наконец, узнав, что я вошел в связь с одною известною ветреницею, слегла в постелью, сказала мне, что, быв женою, она могла сносить мои неверности, но, сделавшись любовницею, умирает от них.

Эмилия сдержала слово – и при смерти своей говорила мне такие вещи, от которых волосы мои стали бы дыбом, если бы, к несчастью, была во мно хотя искра совести; но я слушал холодно и заснул спокойно; только в ту ночь видел страшный сон, который, без сомнения, не сбудется в здешнем свете.

Не хочу говорить о дальнейших моих любовных приключениях, которые не имели в себе никакого особенного блеска, хотя мне удалось еще разорить двух или трех женщин (правда, немолодых). Видя наконец, что лета и невоздержность кладут на лицо мое угрюмую печать свою, я решился взять другие меры, сделайся ростовщиком и, сверх того, забавником, шутом, поверенным мужей и жен в их маленьких слабостях. Мудрено ли, что мне снова отворен вход во многие именитые дома? Такие люди нужны на всякий случай. Одним словом, я доволен своим положением и, видя во всем действие необходимой судьбы, ни одной минуты в жизни моей не омрачил горестным раскаянием. Если бы я мог возвратить прошедшее, то думаю, что повторил бы снова все дела свои: захотел бы опять

укусить ногу папе, распутствовать в Париже, пить в Лондоне, играть любовные комедии на театре и в свете, промотать имение и увезти жену свою от второго мужа. Правда, что некоторые люди смотрят на меня с презрением и говорят, что я остыдил род свой, что знатная фамилия есть обязанность быть полезным человеком в государстве и добродетельным гражданином в отечестве. Но поверю ли им, видя, с другой стороны, как многие из наших любезных соотечественников стараются подражать мне, живут без цели, женятся без любви, разводятся для забавы и разоряются для ужинов! Нет, нет! Я совершил свое предопределение и, подобно страннику, который, стоя на высоте, с удовольствием обнимает взором пройденные им места, радостно вспоминаю, что было со мною, и говорю себе: так я жил!

Примечания

1

Спасайся кто может! (*франц.*). – Ред.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Крепость св. Ангела. – Так называлась тюрьма в Риме.

[^^^]

2

Монастырь латрапский — монастырь ордена трапистов; отличался строгим уставом.

[^^^]

3

Дидона — по античной мифологии, ревнивая карфагенская царица, влюбленная в Энея.

[^^^]

[^^^]